

Николай Семенович Лесков

Заметки неизвестного

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3
ББК 84

Николай Семенович Лесков

Заметки неизвестного / Николай Семенович Лесков – М.: Книга по Требованию, 2011. – 64 с.

ISBN 978-5-4241-2293-4

Николай Семенович Лесков широко, объективно отразил в своих произведениях жизнь российского общества его эпохи - эпохи отмены крепостного права, пробуждения деловой активности масс, размежевания интеллигенции на разные идеологические "станы". Большое внимание уделял Лесков и русской старине, считая ценным для развития общества накопленный тысячелетиями народный опыт. Документальность многих его произведений сочетается с художественной выразительностью, психологической глубиной, яркостью языка.

ISBN 978-5-4241-2293-4

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Николай Семенович Лесков
ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма distinguished, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

ИЗЛИШНЯЯ МАТЕРИНСКАЯ НЕЖНОСТЬ

Ассессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутилив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость ассессорши постоянно похвалил, но не одобрял, что она так Игнашу заперти, при себе и одних домашних прислужниках, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, — ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Ассессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с ассессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание ассессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая ассессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У ассессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре ассессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого ассессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь

сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности — часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и дареные ему за его храбрость из Кабинета. И ассессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они, в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решила послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею собираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение ассессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди.

— Не будь, — говорил, — как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», — ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая — мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смочет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Ассессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не случилось ли со страха, что

смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, — и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, ассессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится, и губами смочет»...

— Знаю, — говорила ассессорша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, — говорит, — вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведите от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче — как нравы повреждаются.

— Налетит сверху, не зная откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

— Точно, — говорит, — отец Павел, было со мною плохое дело, и... может быть... и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

— Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков — они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

— Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое — ты да я, — и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявлено или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смочешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

— Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

— Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

— Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.
— Открывай.
— Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство...

— Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

— Да-с... Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою...

— Ну! Что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою — и это не худо. И тут я никакого греха не вижу; если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

— Вам нельзя, — говорит Игнаша, — духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

— Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустыки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове — совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. — Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за нечаею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усиленно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть — спит ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплунутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

— Молодчина ты — похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к ассessorше и говорит:

— Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Ассessorша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

— Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Ассessorша говорит:

— Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

— Хорошо, — говорит, — только вы слушайте и все точно исполните.

— Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню.

— Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла...

— Встану, — говорит, — отец Павел, даже до зари встану.

— Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

— Есть у меня в кладовой два серпа новые.

— И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

— Есть у меня такая, есть.

— И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

— Все так сделаю.

— И пусть он этот пуд сена съест.

— Кто это?

— Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Ассessorша изумилась.

— Как же это так: разве, — говорит, — он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

— Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел презрядный.

ИСКУСНЫЙ ОТВЕТЧИК

Секретарь, укоряемый во многом притяжании, имел слабость к устройению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новопривышему начальнику. Начальник отвечал:

— Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялось, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не зная о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

— Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшною клятвою именем божим поклялся.

— Хорошо, — возразил начальник, — но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те дома и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

— Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

— Точно так, — отвечал секретарь.

— В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

— Не знаю, — отвечал секретарь.

— Как так — не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

— Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

— Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

— И даже много раз спрашивал.

— И что же она вам на то отвечала?

— Ничего не отвечала.

— Как так ничего?!

— Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

— Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

КАК НЕХОРОШО ОСУЖДАТЬ СЛАБОСТИ

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастьям, из которых каждого в раздельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоянии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив креще-